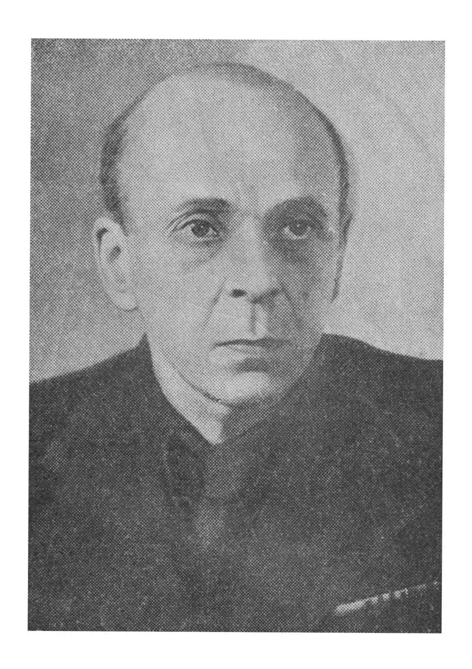
Павел АНТОКОЛЬСКИЙ

СЫН



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
№ 7
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА — 1946

Павел АНТОКОЛЬСКИЙ

СЫН

ПОЭМА

Издательство «ПРАВДА»
Москва — 1946

ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ

Павел Григорьевич Антокольский родился в 1896 году в Санкт-Петербурге (Ленинград). Гимназию кончил в Москве, поступил на юридический факультет МГУ, Стихи начал писать подростком, ещё в гимназии. В гимназии увлекался также театром, декламировал Шекспира и участвовал в любительских спектаклях. Университет совмещал с пребыванием в «Студенческой драматической студии» под руководством Е. Б. Вахтангова. Прошёл все стадии театральной учёбы и все виды театральной деятельности, т. е. был и актёром, и рабочим сцены, и режиссёром. Там же писал короткие стихотворные пьесы в романтическом духе, не без влияния блоковского театра.

Первые стихи П. Г. Антокольского были напечатаны во временнике Литературного отдела Наркомпроса «Художественное слово» в 1921 году. Эту дату можно считать формально началом литературной деятельности. Через год в Госиздате вышла первая книжка его стихов. В 1926 году — вторая, а ещё через год — третья.

Годы 1928 — 1934 — творчески самые напряженные: за это время были написаны три поэмы: «Робеспьер и Горгона», «Коммуна 1871 года» и «Франсуа Вийон» — и множество стихов, в том числе и весь парижский цикл.

Примерно с середины тридцатых годов П. Г. Антокольский стал переводить поэтов закавказских республик. В это же время он снова начал работать в театре, руководя сначала колхозным, потом городским театром на автозаводе имени В. М. Молотова в городе Горьком. Поставил там ряд спектаклей.

Годы войны провёл в основном в Москве, работая на радио и в центральной печати, а также выезжая на фронт со своим театром. За эти годы написал три книги стихов и поэмы «Чкалов» и «Сын». За поэму «Сын» П. Г. Антокольскому присуждена Сталинская премия.

СЫН

Поэма

Памяти младшего лейтенанта Владимира Павловича Антокольского павшего смертью храбрых 6 июля 1942 года.

1

Вова! Я не опоздал? Ты слышишь?
Мы сегодня рядом встанем в строй.
Почему ты писем нам не пишешь,
Ни отцу, ни матери с сестрой?

Вова! Ты рукой не в силах двинуть,
Слёз не в силах с личика смахнуть,
Голову не в силах запрокинуть,
Глубже всеми лёгкими вздохнуть.

Почему в глазах твоих навеки
Только синий, синий, синий цвет?
Или сквозь обугленные веки
Не пробьётся никакой рассвет?

Видишь, — вот сквозь вьющуюся зелень
Светлый дом в прохладе и в тени.
Вот мосты над кручами расселин.
Ты мечтал их строить. Вот они.

Чувствуешь ли ты, что в это утро
Будешь рядом с ней, плечо к плечу,
С самой лучшей, с самой златокудрой,
С той, кого назвать я не хочу?

Слышишь, слышишь, слышишь канонаду?
Это наши к западу пошли.
Значит, наступленье. Значит, надо
Подыматься, встать с сырой земли.

И тогда из дали неоглядной,
Из далёкой дали фронтовой
Отвечает сын мой ненаглядный
С мёртвою горящей головой:

— Не зови меня, отец, не трогай.
Не зови меня, — о, не зови!
Мы идём нехоженой дорогой,
Мы летим в пожарах и в крови.

Мы летим и бьём крылами в тучи,
Боевые павшие друзья.
Так сплотился наш отряд летучий,
Что назад вернуться нам нельзя.

Я не знаю, будет ли свиданье.
Знаю только, что не кончен бой.
Оба мы — песчинки в мирозданье.
Больше мы не встретимся с тобой.

2

Мой сын погиб. Он был хорошим сыном,
Красивым, добрым, умным, смельчаком.
Сейчас метель гуляет по лощинам,
Вдоль выбоин, где он упал ничком.
Метёт метель и в рог охрипший дует,
И в дымоходах воет, и вопит
В развалинах.
А мне она диктует
Счета смертей, счета людских обид.

Как двое встретились? Как захотели
Стать близкими? В какую из ночей
Затеплился он в материнском теле,
Тот синий огонёк, ещё ничей?
Пока он спит, и тянется, и тянет
Ручонки вверх, ты всё ему отдашь
Но погоди, твой сын на ножки встанет,
Потребует свистульку, карандаш.
Ты на плечи возьмёшь его. Тогда-то
Заполыхает синий огонёк.
Начало детства, праздничная дата,
Ничем не примечательный денёк.

В то утро или в тот ненастный вечер
Река времён в спокойствии текла,
И крохотное солнце человечье
Стучалось в мир для света и тепла.

Но разве это, разве тут начало?
Начала нет, как, впрочем, нет конца.

Жизнь о далеком будущем молчала,
Не огорчала попусту отца.
Она была прекрасна и огромна
Все те года, пока мой мальчик рос, —
Жизнь облаков, аэродромов, комнат,
Оркестров, зимних вьюг и летних гроз.

И мальчик рос. Ему ерошил кудри
Весенний ветер, зимний — щёки жёг,
И он летел на лыжах в снежной пудре,
И плавал в море — бедный мой дружок.
Он музыку любил, её широкий
Скрипичный вихорь, боевую медь.
Бывало, он садится за уроки,
А радио над ним должно греметь,
Чтоб в комнату набились доотказа
Литавры и фаготы вперебой,
Баян из Тулы, и зурна с Кавказа,
И позывные станции любой.

Он ждал труда, как воздуха и корма:
Чертить, мять в пальцах, красить что-нибудь,
Колонки логарифмов, буквы формул
Пошли за ним из школы в дальний путь.
Макеты сцен, не игранных в театре,
Модели шхун, не плывших никуда...
Его мечты хватило б жизни на три
И на три века, — так он ждал труда.
И он любил следить, как вырастали
Дома на мирных улицах Москвы,
Как великаны из стекла и стали
Купались в мирных бликах синевы.

Он столько шин стоптал велосипедом
По всем Садовым, за Москва-рекой,
И столько плёнки перепортил «Фэдом»,
Снимая всех и всё, что под рукой.
И столько раз, ложась и встав с постели,
Уверен был: нет, я не одинок...
Что он любил ещё? Бродить без цели
С товарищами в выходной денёк,
Вплоть до зимы без шапки. Неприлично?
Зато удобно, даже горячо.
Он в сутолоке праздничной, столичной
Как дома был. Что он любил ещё?

Он жил в Крыму в то лето. В жарком полдне
Сверкал морской прилив во весь раскат.
Сверкал песок. Сверкала степь, наполнив
Весь мир звонками крохотных цикад.
Он видел всё до точки, не обидел
Мельчайших брызг морского серебра,
И в первый раз он девочку увидел
Совсем другой и лучшей, чем вчера.
И девочка внезапно убежала.
И звонкий смех ещё звучал в ушах,
Когда в крови почувствовал он жало
Внезапной грусти, чаще задышав.
Но отчего грустить? Что за причина
Ему бродить между приморских скал?
Ведь он не мальчик, но и не мужчина,
Грубил девчонкам, за косы таскал.
Так что же это, что же это, что же
Такое, что щемит в его груди?
И, сразу окрылён и уничтожен,
Он знал, что жизнь огромна впереди.

Он в первый раз тогда мечтал о жизни.
Всё кончено. То был последний раз.
Ты, море, всей гремящей солью брызни,
Чтоб подтвердить печальный мой рассказ.
Ты, высохший степной ковыль, наполни
Весь мир звонками крохотных цикад.
Сегодня нет ни девочки, ни полдня...
Метёт метель, метёт во весь раскат.
Сегодня нот ни мальчика, ни Крыма...
Метёт метель, трубит в охрипший рог,
И только грозным заревом багрима
Святая даль прифронтовых дорог.

И только по щеке в дыму махорки
Ползёт скупая, трудная слеза,
Да карточка в защитной гимнастёрке
Глядит на мир, глядит во все глаза.

И только еженощно в разбомблённом,
Ограбленном старинном городке
Поёт метель о юноше влюблённом,
О погребённом — тут, невдалеке.

Гостиница. Здесь, кажется, он прожил
Ночь или сутки. Кажется, что спал
На этой жёсткой коечке, похожей
На связку железнодорожных шпал.
В нескладных сапогах по коридору
Протопал утром. Жадно мыл лицо
Под этим краном. Посмеялся вздору
Какому-нибудь. Вышел на крыльцо.
И перед ним открылся разорённый
Старинный этот русский городок
В развалинах, так ясно озарённый
Июньским солнцем.
И уже гудок
Вдали заплакал железнодорожный.
И младший лейтенант вздохнул слегка.
Москва в тумане, в прелести тревожной
Была так невозможно далека.
Опять запел гудок, совсем осипший
В неравной схватке с песней ветровой.
А поезд шёл всё шибче, шибче, шибче
С его открыткой первой фронтовой.
Все кончено. С тех пор прошло полгода.
За окнами — безлюдье, стужа, мгла.
Я до зари не сплю. Меня невзгода
В гостиницу вот эту загнала.
В гостинице живут недолго, сутки, —
Встают чуть свет, спешат на фронт, в Москву.
Метёт метель, мешается в рассудке,
А всё метёт...
И где-нибудь во рву
Вдруг выбьется из сил метель-старуха,
Прильнёт к земле и слушает дрожа,
Там, может быть, сё детёныш рухнул
Под ёлкой молодой у блиндажа.

3

Я слышал взрывы тыщетонной мощи
Распад живого, смерти торжество.
Вот где рассказ начнётся. Скажем проще, —
Вот западня для сына моего.

Её нашел в пироксилине химик,
А металлург в обойму загвоздил,
Её хранили пачками сухими,
Но злость не знала никаких удил.

Она звенела в сейфах у банкиров,
Ползла хитро и скалилась мертво,
Змеилась, под землёй траншеи вырыв.
Вот западня для сына моего.

И в том году, спокойном, двадцать третьем,
Когда мой мальчик только родился,
Уже присматривалась к нашим детям
Германия, ощеренная вся.

Я видел город тот аляповатый
В зелёных вспышках мертвенных реклам.
Он был набит тщеславием, как ватой,
И смешан с маргарином пополам.
В том городе дрались и целовались,
Рожали или гибли ни за что
И пели «Deutschland, Deutschland über alles».
Всё было этим лаком залито.

Как жизнь черна, обуглена. Как густо
Заляпаны разгулом облака.
Как вздорожали пиво и капуста,
Табак и соль. Не хватит и мелка,
Чтоб надписать растущих цен колонки.

Меж тем убийцы наших сыновей
Спят сладко, запелёнуты в пелёнки.
Спят и не знают участи своей.

И ты, наш давний недруг, кем бы ни был,
Берлинец с наглым каменным лицом,
На женщин жаден, падок на сверхприбыль,
Ты в том году стал, как и я, отцом.
Да. Твой наследник будет чистой крови,
Румян, голубоглаз и белобрыс.
Вотан по силе, Зигфрид по здоровью, —
Отдай приказ — он рельсу бы разгрыз.
Он юность проведёт в домах публичных,
Пройдёт насквозь Европу, как чума.
Но перечень его деяний личных
Не нужен. Он — Германия сама.
Она сама открыто и толково
Его с рожденья ввергнула во тьму.
Такого сына ждёшь ты? — Да, такого.
Ему ты отдал сердце? — Да, ему.

Вот он в снегу, твой Фрицхен, отработан,
Как рваный танк. Попробуй, оторви
Его от снега. Закричи «Ферботен!»
И впейся в рот, запекшийся в крови.

Хотел ли ты для сына ранней смерти?
Хотел иль нет, ответом не помочь.
Не я принёс плохую весть в конверте,
Но я виной, что ты не спишь всю ночь.

Что там стучит в висках твоих склерозных?
Чья тень в оконный ломится квадрат?
Она пришла из мглы ночей морозных.
Тень эта — я. Ну, как, берлинец, рад?
Твой час пришёл.
Вставай, старик.
Пора нам.

Пройдём по странам, где гулял твой сын.
Нам будет жизнь его — киноэкраном,
А смерть — лучом прожектора косым.
Над нами небо, как раздранный свиток,
Всё в письменах мильонолетних звёзд.
Под нами вспышки лающих зениток,
Дым разорённых человечьих гнёзд.

Снега, снега. Завалы снега. Взгорья.
Чащобы в снежных шапках до бровей.
Холодный дым кочевья. Запах горя.
Всё неоглядней горе, всё мертвей.

По деревням, на пустошах горючих
Творятся ночью страшные дела.
Раскачиваются, скрипя на крючьях,
Повешенных иссохшие тела.
Расстреляны и догола раздеты,
В обнимку с жизнью брошены во рвы,
Глядят ребята, женщины и деды
Стеклянным отраженьем синевы.
Кто их убил? Кто выклевал глаза им?
Кто, ошалев от страшной наготы,
В крестьянском скарбе шарил, как хозяин?
Кто? Твой наследник. Стало быть, и ты...

Ты, воспитатель, сделал эту сволочь,
И, пращуру пещерному подстать,
Ты из ребёнка вытравил, как щёлочь,
Всё, чем хотел и чем он мог бы стать,
Ты вызвал в нём до возмужанья похоть,
Ты до рожденья злобу в нём разжёг.
Видать, такая выдалась эпоха, —
И вот трубил казарменный рожок,
И вот печатал шагом он гусиным
По вырубленным рощам и садам.
А ты хвалился безголовым сыном,
Ты восхищался Каином, Адам.
Ты отнял у него миры Эйнштейна
И песни Гейне вырвал в день весны,
Арестовал его ночные тайны
И обыскал мальчишеские сны.

Ещё мой сын не мог прочесть, не знал их,
Руссо и Маркса, еле к ним приник, —

А твой на площадях, в спортивных залах
Костры сложил из тех бессмертных книг.
Тот день, когда мой мальчик кончил школу,
Был светел и по-юношески свеж.
Тогда твой сын, охрипший, полуголый,
Шёл с автоматом через наш рубеж.

Ту, пред которой сын мой с обожаньем
Не смел дышать, так он берёг её,
Твой отпрыск с гиком, с жеребячьим ржаньем
Взял и швырнул на землю, как тряпьё.

...Снега. Снега. Завалы снега. Взгорья.
Чащобы в снежных шапках до бровей.
Холодный дым кочевья. Запах горя.
Всё неоглядней горе, всё мертвей.

Всё путанней нехоженые тропы,
Всё сумрачней снега, всё лиловой.
Передний край. Восточный фронт Европы.
Вот место встречи наших сыновей.

Мы на поле с тобой остались чистом, —
Как ни вывёртывайся, как ни плачь,
Мой сын был комсомольцем.
                                        Твой — фашистом.
Мой мальчик — человек.
                                    А твой — палач.

Во всех боях, в столбах огня сплошного,
В рыданьях человечества всего,
Сто раз погибнув и родившись снова,
Мой сын зовёт к ответу твоего.

4

Идут года — тридцать восьмой, девятый.
Зарублен рост на притолке дверной.
Воспоминанья в клочьях дымной ваты
Бегут, не слившись, где-то стороной.
Не точные.
Так как же мне вглядеться
В былое сквозь туманное стекло,
Чтобы его неконченное детство
В неначатую юность перешло...
Стамеска. Клещи. Смятая коробка
С гвоздями всех калибров. Молоток.
Насос для шин велосипедных. Пробка
С перегоревшим проводом. Моток
Латунной проволоки. Альбом для марок.
Сухой разбитый краб. Карандаши.

Вот он, назад вернувшийся подарок,
Кусок его мальчишеской души,
Хотевшей жить. Ни много и ни мало, —
Жить. Только жить. Учиться и расти.
И детство уходящее сжимало
Обломки рая в маленькой горсти.
Вот всё, что детство на земле добыло,
А юность ничего не отняла
И, уходя на смертный бой, забыла
Обломки рая в ящиках стола.

Рисунки. Готовальня. Плоский ящик
С палитрой. Два нетронутых холста.
И тюбики впервые настоящих,
Впервые взрослых красок. Пестрота
Беспечности. Всё — начерно. Всё — наспех.

Всё с ощущеньем, что наступит день —
В июле, в январе или на пасхе, —
И сам осудишь эту дребедень.
И он растёт, застенчивый и милый,
Нескладный, большерукий наш чудак.
Вчера его бездействие томило,
Сегодня он тоскует просто так.
Холст грунтовать? Писать сиеной, охрой
И суриком, чтобы в мазне лучей
Возник рассвет, младенческий и мокрый,
Тот первый на земле, ещё ничей...
Или рвануть по клавишам, не зная
В глаза всех этих до-ре-ми-фа-соль,
Чтоб в терциях запрыгала сквозная
Смеющаяся штормовая соль...

Опять рисунки. В пробах и пробелах
Сквозит игра, ребячливость и лень.
Так, может быть, в порывах оробелых
О ствол рогами чешется олень
И, напрягая струны сухожилий,
Готов сломать ветвистую красу.
Но ведь оленю ревностно служили
Все мхи и травы в сказочном лесу.
И, невидимка в лунном одеянье,
Пригубил он такой живой воды,
Что разве лишь охотнице Диане
Удастся отыскать его следы.
А за моим мужающим оленем
Уже неслись, трубя во все рога,
Уже гнались, на горе поколеньям,
Железные выжлятники врага.

Идут года — тридцать восьмой, девятый,
И пограничный год, сороковой.
Идёт зима, вся в хлопьях снежной ваты,
И вот он, сорок первый, роковой.

В июне кончил он десятилетку.
Три дня шатались об руку мы с ним.
Мой сын дышал во всю грудную клетку.
Но был какой-то робостью томим.

В музее, жадно глядя на Гогена,
Он словно сжался, словно не хотел
Ожогов солнца в сварке автогенной
Всех этих смуглых обнажённых тел.

Но всё светлей навстречу нам вставала
Разубранная, как для торжества,
Вся, от Кремля до Земляного вала,
Оправленная в золото Москва.
Так призрачно задымлены бульвары,
Так бойко льётся разбитная речь,
Так скромно за листвой проходят пары, —
О, только б ранний праздник свой сберечь
От глаз чужих.
Всё, что добыто в школе,
Что юношеской сделалось душой,
Всё на виду.
Не праздник это, что ли?
Так чокнемся, сынок.
Расти большой.
На скатерти в грузинском ресторане
Пятно вина так ярко расплылось.
Зачёсанный назад с таким стараньем,
Упал на брови завиток волос.
Так хохоча бесхитростно, так важно
И всё же снисходительно ворча,
Он наконец пригубил пламень влажный,
Впервой не захлебнувшись сгоряча.

Пей. В молодости человек не жаден.
Потом, над перевальной крутизной,
Поймёшь ты, что в любой из виноградин
Нацежен тыщелетний пьяный зной.
И где-нибудь, в тени чинар, в духане,
В шмелином звоне старческой зурны
Почувствуешь священное дыханье
Тысячелетий.
Как озарены
И камни, и фонтан у Моссовета,
И девочка, что на него глядит
Из-под ладони. Слишком много света
В глазах людей. Он окна золотит,
И зайчиками прыгает по стенам,
И пурпуром ошпарил облака,

И, если верить стонущим антеннам,
Работа света очень велика.

И запылали щёки. И глубоко
Мерцали пониманием глаза.
Не мальчика я вёл, а полубога
В открытый настежь мир.
                                        И вот гроза.
Слегка цыганским встряхивая бубном,
С охапкой молний, свившихся в клубок,
Шла в облаках над городом стотрубным
Навстречу нам.
                              И это видел бог.
Он радовался ей. Ведь пеньем грома
Не прерван пир, а только начался.

О, только не спешить. Пешком до дома
Дойдём мы ровным ходом в полчаса.

Москва, Москва. Как много гроз шумело
Над славной головой твоей, Москва!
Что ж ты притихла? Что ж, белее мела,
Не разделяешь с нами торжества?
Любимая. Дай руку нам обоим.
Отец и сын, мы — граждане твои.
Благослови, Москва, нас перед боем.
Что там ни суждено, — благослови.
Спасибо этим памятникам мощным,
Огням театров, пурпуру знамён.
И сборищам спасибо полунощным,
Где каждый зван и каждый заменён
Могучим гребнем нового прибоя, —
Волна волну смывает, и опять
Сверкает жизнью лоно голубое.
Отбоя нет. Никто не смеет спать.
За наше счастье — сами мы в ответе.
А наше горе — не твоя вина.

Так проходил наш праздник. На рассвете,
В четыре тридцать началась война.

5

Мы не всегда от памяти зависим.
Случайный, беглый след карандаша,
Случайная открытка в связке писем, —
И возникает юная душа.
Вот, вот она мелькнула, недотрога,
И усмехнулась, и ушла во тьму, —
Единственная, безраздельно строго,
Сполна принадлежащая ему.

Здесь почерк вырабатывался: точный,
Косой, немного женский, без прикрас.
Тогда он жил в республике восточной,
Без близких и вне дома в первый раз, —
В тылу, в военной школе.
И вначале
Был сдержан в письмах: «Я здоров. Учусь.
Доволен жизнью».
Письма умолчали
О трудностях, не выражали чувств.
Гораздо позже начал он делиться
Тоской и беспокойством: мать, сестра.
Но скоро в письмах появились лица
Товарищей. И грусть не так остра.
И вот он подавал, как бы на блюде,
Как с пылу-жару, вывод многих дней:
«Здесь, папа, замечательные люди...»
И снова дружба. И опять о ней.
Навстречу людям. Всюду с ними в ногу.
Навстречу людям — цель и торжество.

Так вырабатывался понемногу
Мужской характер сына моего.

Ещё одна тетрадка. Очень чисто,
Опрятность школьной выучки храня,
Здесь вписан был закон артиллериста,
Святая математика огня.
Святая точность логики прицельной.

Вот чем дышал и жил он этот год,
Что выросло в нём искренно и цельно.
В сознанье долга, в нежеланье льгот.
Ни разу не отвлёкся. Что он видел?
Предвидел ли погибельный багрец,
Своей души последнюю обитель?

И вдруг рисунок на полях: дворец
В венецианских арках. Тут же рядом
Под кипарисом пушка.
Но, постой!
В какой задумчивости, смутным взглядом
Смотрел он на рисунок свой простой?

Какой итог, какой душевный опыт
Здесь выражен, какой мечты глоток?
Итог не подведён, глоток не допит.
Оборвалась и подпись:
В. Анток...

6

Ты, может быть, встречался с этим рослым,
Весёлым, смуглым школьником Москвы,
Когда, райкомом комсомола послан
Копать противотанковые рвы,
Он уезжал.
Шли многие ребята
Из Пресни, от Кропоткинских ворот,
Из центра, из Сокольников, с Арбата, —
Горластый, бойкий, боевой народ.
В теплушках пели, что спокойно может
Любимый город спать,
что хороша
Страна родная,
что главы не сложит
Ермак на диком бреге Иртыша.

А может быть, встречался ты и раньше
С каким-нибудь из наших сыновей, —
На Чёрном море или на Ламанше,
На всей планете солнечной твоей.
В какой стране, под гул каких прелюдий
На фабрике, на рынке иль в порту
Тот смуглый школьник пробивался в люди,
Рассчитывающий на доброту
Случайности... И если, наблюдая,
Узнать его ты ближе захотел,
Ответила ли гордость молодая?
Иль в суете твоих вседневных дел
Ты позабыл, что этот смуглый, стройный,

Одним из нас рождённый человек
Рос на планете, где бушуют войны,
И грудью встретит свой железный век?

Уже он был жандармом схвачен в Праге,
Допрошен в Брюгге, в Бергене избит.
Уже три дня он прятался в овраге
От чёрной своры завтрашних обид.
Уже в предгрозье мощных забастовок
Взрослели эти кроткие глаза.
Уже свинцовым шрифтом для листовок
Ему казалась каждая гроза.
Пойдём за ним — за юношей, ведомым
По чёрному асфальту на расстрел.
Останови его за крайним домом,
Пока он пустыря не рассмотрел.

А если и не сын родной, а ближний
В глазах шпиков гестаповских возник,
Запутай след его на свежей лыжне
И сам пройди невидимо сквозь них.
В их чёрном списке все подростки мира,
Вся поросль человеческой весны:
От Пиреней до древнего Памира
Они в зловещих поисках точны.

Почувствуй же, каким преданьем древним
Повеяло от смуглого чела.
Ведь молодость, так быстро догорев в нём,
Сама клубиться дымом начала, —
Горячим пеплом всех сожжённых библий,
Всех польских гетто и концлагерей,
За всех, за всех, которые погибли,
Он, полурусский и полуеврей,
Проснулся для войны от летаргии
Младенческой и ощутил одно:
Всё делать так, как делают другие,
Всё остальное здесь предрешено.

Не опоздай. Сядь рядом с ним на парте,
Пока погоня дверь не сорвала,
По крайней мере, затемни на карте
В районе Жиздры, западней Орла,

Ту крохотную точку, на которой
Ему навеки постлана постель,
Завесь окно своею снежной шторой,
Летящая над городом метель.

Опять, опять к тебе я обращаюсь,
Безумная, бесшумная, пойми, —
Я с сыном никогда не отпрощаюсь,
Так повелось от века меж людьми.
И вот опять он рядом, мой ребёнок.
Так повелось от века, что ещё
Ты не найдёшь его меж погребённых,
Он только спит и дышит горячо.

Не разбуди до срока. Ты — старуха,
А он — дитя. Ты — музыка, а он, —
К несчастью, с детства не лишённый слуха,
Он будущее чувствует сквозь сон.

7

Весь день он спал, не сняв сапог, в шинели,
С открытым ртом, — усталый человек.
Виски немного впали, посинели
Таинственные выпуклости век.
Я подходил на цыпочках, боясь
Дохнуть на сына. Вот он наконец
Из дальних стран вернулся восвояси,
Так рано оперившийся птенец.

Он встал, надел ремень и портупею,
Слегка меня ударил по плечу.
Наверно, думал:
                    «Нет. Ещё успею,
Зачем тревожить? Лучше помолчу».

Последний ужин. Засиделись поздно.
Весь выпит чай и высмеян весь смех,
И сын молчит, неузнан, неопознан
И так безумно близок, ближе всех.
Какая мысль гнетёт его? Как скудно
Освещена под лампой часть лица.
Меняется лицо ежесекундно.
Он смотрит и не смотрит на отца.
И всё в нём недолюбленное,
                                        недолюбившее.
В мозгу, как звон косы,
Как взмах косы: «Я еду, еду, еду».
Он смотрит и не смотрит на часы.

Сегодня в ночь я сына провожаю.
Не знает сын, не разобрал отец,

Чья кровь стучит, своя или чужая,
Всё потерялось в стуке двух сердец.
Всё дело в том, что...
Стой. Но в чём же дело?
Всю жизнь я восхищался им и ждал,
Чтоб в сторону мою хоть поглядел он.
Ждал. Восхищался. Вот и опоздал.

И он прервал неконченную фразу:
— Не провожай. Так лучше. Я пойду
С товарищами. Я умею сразу
Переключаться в новую среду.
Так проще для меня. Да и тебе ведь
Не стоит волноваться.
Но, без сил,
Отец взмолился.
Било восемь, девять.
Я ровно в десять сына упросил.

Пошли мы на вокзал — таким беспечным
И лёгким шагом, как всегда вдвоём.
Лежал табак в мешке его заплечном,
Хлеб, концентраты, узелок с бельём.
Ни дать, ни взять, — шёл ученик из класса
В экскурсию под выходной денёк.
Мой лейтенант и вправду мог поклясться,
Что в поезде не будет одинок:
Уже в метро попутчиков он встретил.
И лейтенанты вышли впятером.
Я был шестым.
Крепчал ненастный ветер.
Зенитки били. Где-то грянул гром.
Как будто дождь накрапывал. А может,
Дождь начался совсем в другую ночь...
Да что тут: был ли, нет ли, — не поможет,
Тут и гораздо большим не помочь.

Мы были близко. Рядом. Сжали руки,
Сильней. Больней. На столько долгих дней.
На столько долгих месяцев разлуки.
Но разве знали правду мы о ней?

А тут же с матерями и без близких,
С букетиками маленьких гвоздик,
Выпускники из школ артиллерийских
С Москвой прощались.
Мрак уже воздвиг
Железный грубый занавес у входа
В ночной вокзал.
Кричали рупора.
Пошла посадка.
Сколько до отхода?
Час? Полчаса?
Ну, а теперь пора,
Гражданских на вокзал не пустят.
Ну, так
Обнимемся под небом, под дождём.
Постой.
Прощай.
Постой хоть пять минуток.
Пока пройдёт команда, переждем.
Отец нс знает, сына провожая,
Чья кровь, как молот, ухает в виски,
Чья кровь стучит, своя или чужая.

— Ну, а теперь — ещё раз, по-мужски.

И робко, виновато улыбаясь,
Он очень долго руку жмет мою.
И очень нежно, ниже нагибаясь,
Простое что-то шепчет про семью:
Мать и сестру.

А рядом за порогом,
Ночной вокзал в сиянье синих ламп.

А где-то там, по фронтовым дорогам,
Вдоль речек, по искошенным полям,
По взорванным голодным пепелищам,
От пункта Эн на запад напрямик
Несётся время. Мы его не ищем.
Оно само найдёт нас в нужный миг.
Несётся время, синее, сквозное,
Несёт в охапках солнце и грозу,
Вверху синеет тучами от зноя
И голубеет реками внизу.

И в свете синих ламп он тоже синим
Становится, и лёгким и сквозным, —
Тот, кто недавно мне казался сыном.

А там теснятся сверстники за ним.
На загоревших юношеских лицах
Играет в беглых бликах синева,
И кубари пришиты на петлицах.

И между ними видимый едва,
Единственный мой сын, Володя, Вова,
Пришедший восемнадцать лет назад
На праздник мироздания живого,
Спешит на фронт, спешит в железный ад.
Он хочет что-то досказать
и машет
Фуражкой.
Но теснит его толпа.
А ночь летит и синей лампой пляшет
В глазах отца.
Но и она слепа.

8

Что слёзы? Дождь над выжженной пустыней.
Был дождь. Благодеянье пронеслось.
Сын завещал мне не жалеть о сыне.
Он был солдат. Ему не надо слёз.

Солдат? Неправда. Так мы не поможем
Понять страницу, стёршуюся сплошь.
Кем был мой сын? Он был созданьем божьим.
Созданьем божьим? Нет. И это ложь.

Далёк мой путь сквозь стены и по тучам,
Единственный мой достоверный путь.
Стал мой ребёнок обликом летучим.
В нём каждый миг стирает что-нибудь,
Он может и расплыться в горькой влаге,
В солёной сразу брызнувшей росе.
А он в бою и не хлебнул из фляги,
Шёл к смерти, не сгибаясь, по шоссе.

Пыль скрежетала на зубах. Комарик
Прильнул к сухому жаркому виску.
Был яркий день, как в раннем детстве, ярок,
Кукушка пела мирное «ку-ку».
Что вспомнил он? Мелодию какую?
Лицо какое? В чьём письме строку? —
Пока, о долголетии кукуя,
Твердила птица мирное «ку-ку»?
...Но как он удивился этой липкой,
Хлестнувшей горлом, жгуче молодой.

С какой навек растерянной улыбкой
Вдруг очутился где-то под водой.
Потом, когда он, выгнувшись всем телом,
Спокойно спал, как дома, на боку,
Ещё в лесном раю осиротелом
Звенело запоздалое «ку-ку».
Жизнь уходила. У-хо-ди-ла. Будто
Она в гостях не надолго была
И спохватилась, что свеча задута,
Что в доме пусто, в окнах нет стекла,
Что ночью добираться далеко ей
Одной вдоль изб обугленных и труб.

И тихо жизнь оставила в покое
В траве на скате распростёртый труп.

Не лги, воображенье.
Что ты тянешь
И путаешься?
Ты-то не мертво.
Смотри во все глаза, пока не станешь
Предсмертной мукой сына моего.
Услышь,
в каком отчаянье, как хрипло
Он закричал, цепляясь за траву,
Как в меркнущем мозгу внезапно выплыл
Обломок мысли:
«Всё-таки живу».

Как медленно, как тяжело, как нагло
В траве пополз тот самый яркий след,
Как с гибнущим осталась с глазу на глаз
Вся жизнь его, все восемнадцать лет.

Рви ворот свой, воображенье. Помни,
Что для тебя иной дороги нет.
Чем ты упрямей, тем они огромней, —
Оборванные восемнадцать лет.

Ну, так дойди до белого каленья,
Испепелись и пепел свой развей,
Стань кровью молодого поколенья,
Любовью всех отцов и сыновей.

Так не стихай и вырвись вся наружу,
С ободранною кожей, вся как есть,
Вся жизнь моя, вся боль моя — к оружью!
Всё видеть. Всё сказать. Всё перенесть.

Он вышел из окопа. Запах поля
Дохнул в лицо предвестьем доброты.
В то же мгновенье разрывная пуля,
Пробив губу, разорвалась во рту.

Он видел всё до точки, не обидел
Сухих травинок, согнутых огнём.
И солнышко в последний раз увидел.
И пожалел, и позабыл о нём.

И вспомнил он, и вспомнил он, и вспомнил
Всё, что забыл с начала до конца.
И понял он, как будет не легко мне.
И пожалел, и позабыл отца.

Он жил ещё. Минуту. Полминуты,
О милости несбыточной моля.
И рухнул, в три погибели согнутый
И расступилась мать сыра земля.

И он прильнул к земле усталым телом
И жадно, разучаясь понимать,
Шепнул земле, — но не губами, — целым
Существованьем кончившимся:
Мать.

9

Ты будешь долго рыться в чёрном пепле.
Не день, не год, не годы, а века,
Пока глаза сухие не ослепли,
Пока окостеневшая рука
Не вывела строки своей последней, —
Смотри в его любимые черты.
Не сын тебе, а ты ему наследник.
Вы поменялись местом, он и ты.
Со всей Москвой ты делишь траур. В окнах
Ни лампы, ни коптилки. Но и мгла,
От стольких слёз и стольких стуж продрогнув,
Тебе своим вниманием помогла.
Что помнится ей? — Рельсы, рельсы, рельсы.
Столбы, опять летящие столбы.
Дрожащие под ветром погорельцы.
Шрапнельный визг. Железный гул судьбы.

Так, значит, мщенье? — Мщенье. Так и надо.
Чтоб сердце сына смерть переросло.
Пускай оно ворвётся в канонаду.
Есть у сердец такое ремесло.

И если в тучах небо фронтовое,
И если над землёй летит весна,
То на земле вас вечно будет двое, —
Сын и отец, не знающие сна.

Нет права у тебя ни на какую
Особую, отдельную тоску.
Пускай, последним козырем рискуя,
Она в упор приставлена к виску.
Не обольщайся. Разве это выход?
Всей юностью оборванной своей
Не ищет сын поблажек или выгод
И в бой зовёт мильоны сыновей.
И в том бою, в строю неистребимом
Любимые чужие сыновья
Идут на смену сыновьям любимым
Во имя правды, большей, чем твоя.

ДВА ПОСЛЕСЛОВИЯ

I

Ответьте, суша и моря,
Века, и вы ответьте,
Что правды, большей, чем моя,
Не может быть на свете.

Я не один. Все старики,
Все Иовы вселенной,
Мы и в отчаянье крепки.
Нам горе по колено.
И после всех ночных погонь
Команда раздаётся.
— Огонь!
— Огонь!
— Огонь!
— Огонь!
И сердце сына бьётся.

Сын человеческий встаёт,
Каким он был когда-то.
Кровь человеческая бьёт
Из чёрных ран солдата.

Пускай сводящая с ума
Не стихнет канонада.
Ведь я не врач. Я боль сама,
А ей конца не надо.

II

3

Прощай, моё солнце. Прощай, моя совесть,
Прощай, моя молодость, милый сыночек.
Пусть этим прощаньем окончится повесть
О самой глухой из глухих одиночек.

Ты в ней остаёшься. Один. Отрешённый.
От света и воздуха. В муке последней.
Никак не рассказанный. Не воскрешённый.
Навеки веков восемнадцатилетний.

О, как далеки между нами дороги,
Идущие через столетья и через
Прибрежные те травяные отроги,
Где сломанный череп пылится, ощерясь.

Прощай. Поезда не приходят оттуда.
Прощай. Самолёты туда не летают.
Прощай. Никакого не сбудется чуда.
А сны только снятся нам. Снятся и тают.

Мне снится, что ты ещё малый ребёнок
И счастлив, и ножками топчешь босыми
Ту землю, где столько лежит погребённых.
На этом кончается повесть о сыне.

Отв. редактор А. А. СУРКОВ.

А 04433. Заказ № 455

Тираж 100.000 экз. Печ. л. 1

Подписано к печати 20/IV 1946 г.

Тип. газеты «Правда» имени Сталина.

Москва, ул. «Правды», 24.

Цена 40 коп.